Алексей Фирсов размышляет о том, почему в России все еще ждут новых романов Пелевина в своей колонке специально для Forbes

Культовый российский писатель может сыграть роль пророка, но чаще работает психотерапевтом. Поиграв в буддизм и удовлетворив себя осознанием понимания хода вещей, читатель спокойно возвращается к своей рутине, полагает социолог Алексей Фирсов

В той культурной или околокультурной среде, которая выработала свои коды опознавания через набор авторов, театральных площадок, выставок, ссылок и референций, ежегодные романы Виктора Пелевина принято ждать с легким скепсисом: автор уже не тот, что раньше, но иного нам не дано, придется читать. При всей неровности прозы Пелевина выходы его книг становятся общественным событием, а значит, помимо литературной критики, достойны и социологического анализа — а что в них такого, что заставляет волноваться среду, как девушку в томлениях первых свиданий.

Оставим за скобками специфичную для Пелевина иронию — она афористична, поддается легкому цитированию, но все же не задает основной содержательной ценности его творчества. Хотя можно предположить, что для части поклонников автор является «мастером актуального анекдота», этот прием служит крючком, хватающим читателя за губу, чтобы вытащить на сушу (в другую реальность), все же это верхний и не самый принципиальный уровень текста.

Пелевин, по сути, создал свою школу работы с сознанием,

синтезировал литературу с метафизикой сильнее, чем кто-либо из российских авторов — часто в ущерб элементам этого синтеза.

Опыт пустоты

Практически для всех произведений Пелевина характерен один метасюжет — блуждание по лабиринту. Герой попадает в сложные, зеркальные переходы внутри своего «я» (которое в итоге аннигилируется), вернее, сознания, которое до этого висело на гвозде этого иллюзорного индивидуального «я». А когда гвоздь вынут, герой оказывается в пустоте, где, кроме него самого, и не с кем иметь дело.

В этом смысле ключевой персонаж Пелевина бесконечно одинок, а его попытка прорваться к «другому» приводит лишь к тому, что он вновь и вновь натыкается на самого себя и при этом приходит к радикальной невозможности собственной идентификации. Но когда лабиринт становится тотальным и уже не оставляет шансов, появляется спасительная нить, которая выводит к свету осознанности (в интерпретации самого Пелевина, конечно).

Пусть и в существенно более слабом проявлении, этот опыт пустоты знаком жителю мегаполиса, способному хотя бы раз искреннее заглянуть в глубину себя и увидеть, как провисают в круговороте дел его жизненные стратегии, а реальность оказывается принципиально иной, чем отточенные слайды корпоративных презентаций. Весь объем деловых и житейских хлопот, продуманный до своего логического предела, приводит к их полному обесцениванию или к изнанке, за которой хохочут иные сущности — иногда демоны, иногда ангелы, а иногда сквозит радикальное ничто.

Однако автор выступает здесь не обличителем буржуазной среды, а скорее психотерапевтом. Позволяя читателю осмыслить пустоту существования, он приводит аудиторию не столько к кризису или переоценке ценностей, сколько к скрытому удовлетворению от узнавания своей ситуации как типичного положения дел, как «нормы». Если вся жизнь проходит в лабиринте, можно принять

это с весельем и самозабвением, а сам лабиринт не зафиксировать как финальную реальность. Поиграв в профанный буддизм и удовлетворив себя осознанием понимания хода вещей, обыватель спокойно возвращается к своей рутине — понимание достигнуто, почему бы не запить его виски?

Культовый пелевинский сарказм решает ту же задачу. Объект иронии обеспечивает себе полную сохранность, поскольку развенчанный, подвергнутый ироничной оценке и обнаженный до своей сути, он становится уже органичной частью социального ландшафта. Он уже принят как есть — ведь обесценивание произошло, ну и пусть теперь эти «олигархи» или «силовики» остаются во всей мизерабельности своего существования. Они в таком же лабиринте, как и «я» сам, если не хуже, — шансов выбраться у них еще меньше, поскольку они живут в иллюзии своего успеха, их ничто не сбивает с ног.

Герой Пелевина — принципиальный антипод социального активиста, так как любое социальное действие без трансформации сознания приводит лишь к воспроизводству прежних форм существования, часто в еще более отталкивающем виде. А трансформация сознания, если она и случается, выводит героя в контур другой реальности, после которой менять социальную среду уже неинтересно. Ведь она в любом случае — проекция нашего «я». Поэтому роман Пелевина вступает в симбиоз с той реальностью, которую компрометирует, — он ее часть.

Скрытый мессия

Тем не менее автору присуща уникальная позиция в нынешней культурной ситуации. Он, может быть, сам не ставя такой задачи, возвращает русскую литературу к его исходному смыслу — быть больше, чем литературой. В российской традиции ввиду слабости общественных институтов или иных причин писатель часто брал на себя роль пророка, жреца, мессии, на худой конец — моралиста и учителя жизни.

После разрыва традиции в 1990-е, когда литература загоняется в

автономную сферу, становится разновидностью гуманитарного бизнеса, Пелевин восстанавливает эту роль, доводя ее, подобно позднему Льву Толстому, до радикального предела, который вредит самому тексту. И при этом, что удобно, сохраняет все коммерческие бонусы.

В ряде поздних романов (к которым, впрочем, не относится последний — «Трансгуманизм Inc.») его герои становятся лишь инструментом авторской проповеди о сути сознания. Эта особенность настолько сильна, что в какой-то момент уже даже не важно, кто из героев произносит эту проповедь: текст можно легко вырезать, вложить в речь другого персонажа или опубликовать отдельно. Сюжет становится лишь инструментом доставки смыслов. Если когда-то Пелевину вдруг надоест писать прозу, он вполне сможет стать популярным коучем.

К счастью, в этой монотонной игре с читателем бывают перерывы, один из которых мы увидели в последнем произведении. Временами Пелевин вспоминает, что он еще и писатель, а значит, имеет дело с пластикой слова, эстетикой текста. И этот момент возвращает его из роли проповедника в роль настоящего писателя, герои которого оживают, обретают свою индивидуальность и характер. Здесь проступает еще одно значение Пелевина — на фоне общего упадка больших нарративов, потери читателя, падения тиражей он продолжает традицию русского романа с хорошим, отточенным языком и способностью захватывать читателя, давать ему мир, альтернативный привычной реальности.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Читать оригинал: Forbes